
БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА
СОВЕТСКИЙ ВОИН
И. Цюпа
Кони вороные



№ 7 (410)
1961

Иван ЦЮПА

КОНИ ВОРОНЫЕ

Рассказы

Главное Политическое Управление Советской Армии и Военно-Морского Флота



Украинский писатель Иван Антонович Цюпа родился в 1911 году в бедной крестьянской семье на Полтавщине. Родители его стали членами первого созданного в районе коллектива «Перемога». В 1925 году Цюпа едет учиться в Зиньковскую сельскохозяйственную школу и там вступает в комсомол. Затем идут годы напряженной комсомольской работы в селах Зиньковского района. Одновременно Цюпа учится на заочном отделении Харьковского коммунистического института журналистики. С конца 1933 года он переходит на газетную

Зак. 886

работу, в периодической печати появляются его первые стихи, очерки, рассказы.

В годы Великой Отечественной войны Иван Антонович Цюпа работает заместителем главного редактора последних известий Украинского радиовещания, делает передачи для подпольщиков и партизан. В 1943 году он вместе с фронтовой радиостанцией вступает на землю Украины. После освобождения Киева И. А. Цюпа — на ответственной работе в большевистской печати: в республиканских газетах «Колхозник Украины», «Советский крестьянин», в журнале «Витчизна»; в 1952—1955 годах он — главный редактор журнала «Украина».

Перу И. А. Цюпы принадлежат три книги очерков о знатных людях Советской Украины, четыре сборника рассказов, два романа — «Навстречу судьбе» и «Вечный огонь», публицистическая книга «Украина наша советская». Недавно писатель закончил новый большой роман «Грозы и радуги».



КОНИ ВОРОНЫЕ

Плывут, качаются туманы над степью. Солнце только что взошло и с трудом пробивается вверх, будто сквозь дымовую завесу.

Утро влажное, холодное; так и пронизывает тебя до костей, не греет рваная свитка, а босые ноги покраснели, словно свекла, — закоченели совсем.

Тяжело ступает бороздой Прокоп. Одна рука на чепыге — плуг держит, а в другой вожжи — лошадьми управляет. Пашет ниву хозяйскую.

Опустело поле. Давно свезли на тока копны, скосили гречиху и просо, только кукуруза шелестит у дороги пожелтевшей листвой и навевает грусть.

Уже и с бахчей все собрали, лишь кое-где лежат

на увядшей плети маленькие потрескавшиеся арбузы и зеленые привялые дыни.

Над черной пахотой летает воронье, и от его карканья в душу Прокопа вкрадывается какая-то тревога. Он весь даже вздрагивает и, дернув вожжи, кричит на коней:

— Но, но-о!

Лошади напрягают шеи, мускулы так и играют на их груди. Постромки натянуты, точно струны. Острый лемех врезается в землю, черный пласт, скользнув по сверкающему полированному отвалу, покорно ложится наискось.

Вслед за плугом переваливаются насупленные вороны, выбирая клювами из земли червяков. Время от времени они поводят настороженным глазом во все стороны, потом неожиданно взлетают, описывают круг над свежей пашней и опять тяжело садятся в глубокую борозду.

Тает, рассеивается туман, раздвигая осенние дали. Где-то далеко в поле, то в том, то в другом месте виднеются пахари, а возле озера — степного водопоя — дымится костер. Это пастухи разожгли огонь, пекут, наверное, картошку в горячем жару.

И Прокопу самому захотелось посидеть возле огня, погреть ноги, в горячей золе испечь картошку — вкусную, рассыпчатую — и съесть ее со щепоткой соли.

Оно уже и завтракать пора, да разве можно без молодого хозяина остановить лошадей? Опять пошел он к Быковцеву, оставив Прокопа пахать одного. Велел ему и за погонщика и за плугаря быть, а сам подался на хутор к Явдохе. В зятья метит к местному богачу.

Все это видит Прокоп, все понимает. Раскусил и старого Папилу и его сына Трофима за пять лет батрачества.

Когда ударила революция, обрадовались было и мать и он, Прокоп. Тешились душой — хватит батрачить. Но где там! Вот уже два года продолжается война между белыми и красными. На одной стороне — богачи, на другой — бедняки. Что ни месяц — два, то власть меняется, и стали Папилы хуже зверей. Всю злость свою на батраках срывают. А больше всего достается ему, Прокопу. Видать, подозревают, что в душе парубка растет непокорность. Может, по глазам видят и по тому, как перестал он послушно гнуть спину, когда огреет кто-нибудь со зла кнутом.

Круг по кругу ходит за плугом Прокоп, отрезая от стерни все новые и новые пласты. Вороные хозяйские откормленные кони Жук и Смагло, как окрестил их еще жеребятами Прокоп, идут ровно, бодро. Иногда, заигрывая, щипнут один другого за гриву, всхрапнут и опять плавно тянут плуг.

Дружные они, от одной матери. Жук старше Смаглы на год. Вместе жеребятами бегали, в табуне росли, а теперь вместе в упряжке. Жук — коренной, а Смагло — пристяжной. Любит их обоих Прокоп. Сколько раз грелся возле лоснящихся шей! Оно хоть и скотина, а понимает. И с ним, бывало, заигрывают лошади: губами шелковистыми дотронутся до шеи или плеча, глядишь — и развеют, разгонят грустные мысли.

Пока малым был Прокоп, меньше задумывался над судьбою своею, а теперь... Семнадцать лет минуло на Маковея, можно сказать, парубок. Над верх-

ней губой уже пробились черные усы и, будто назло, еще больше подчеркивают его худощавость.

Глаза у парня темные, глубокие и всегда почему-то серьезные, наверное, потому, что, живя в батраках, не знаешь радости. Между чужими людьми вырос, с горем и недостатками рано спознался. У других вот и одежда есть, и обуться во что... А у него — что будничное, то и в праздник. В коротких полотняных штанах, из которых давно уже вырос, в свитке порыжелой, с белыми латками на плечах, он похож на большую цаплю. Потому и звал его старый Папило, насмехаясь, аистом.

Вздохнул тяжело хлопец, замахнулся кнутом на коней...

Пашет ниву батрак хозяйский близ шляху, который бежит столбами под гору и дальше простирается, говорят, аж до самой Полтавы. Вот бы пойти этим шляхом... Куда бы он довел Прокопа, в какой далекий удивительный мир? А то кружит он по ниве, спотыкаясь в борозде босыми ногами, и все на одном месте, точно слепой.

Туман развеялся совсем, и над степью засветилось скупое осеннее солнце, опустив косые лучи на жнивье и пашни. В синей мгле в долине виделось село, а в противоположную сторону, мимо Быковцева хутора, что зеленел высокими тополями над балкой, стелилась дорога. До хутора — рукой подать...

Из села донеслась песня, но не такая, какие раньше слышал Прокоп на улицах, а другая, военная. А затем и группа всадников поднялась на гору. Ветер доносит уже знакомые слова:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!..

Покачивались в седлах всадники в такт песне. Играло солнце на штыках, на эфесах сабель и на стременах. Красное полотнище развевалось, прикрепленное к высокой пике всадника, что ехал впереди. А песня, как походная труба, будила сонную осеннюю степь:

Слушай, рабочий, война началася,
Бросай свое дело, в поход собирайся!..

Куда же это они? Неужели отступают? Неужели возвратятся белогвардейцы и богатейство возьмет верх, победит силу бедняцкую?

Заныло сердце у хлопца. Он весь даже потянулся на зов той песни, глазами, сердцем к всадникам устремился.

И вдруг грозный окрик, неожиданный удар истыком * между лопаток.

— Ты куда смотришь, злыдень? А кони, кони где? Глаза у тебя повылазили? Вон какой огрех сделал!

И опять деревянным истыком изо всех сил шмаганул Прокопа хозяйский сын Трофим.

— Может, и тебе захотелось в то войско? Бесштанник несчастный! Ишь, как глазищи вытаращил!

Прокоп не сказал ни слова. Но под его взглядом даже поежился хозяйский сынок.

— Чего смотришь, люцыпер? **

---

* Истык (укр.) — деревянная палка с заостренным концом для удаления земли с лемеха плуга.

** От латинского — люцифер; в христианской мифологии — сатана, повелитель ада, бог зла.

Прокоп только сильиее иажал иа плуг. Да еще рванул вожжи так, что лошадн даже головы назад запрокииули.

— Ты зачем коией дергаешь? — еще больше вскипел Трофим Папило. — Твон оии, что ли?

И ои в третий раз опустил иа плечн Прокопа грушевый истык.

— Ну хватит же! Хватит! — повериул голову Прокоп.

— А то что? — приставал молодой хозяии. — Что? Конец вашей власти! Видишь, вои как утекают! — и ои злорадио рассмеялся. — Еще и с песией!

— Скачите, скачите, голубчики... — скрутнв в кукиш пальцы, ои ткнул рукой в простор и покачиулся.

И Прокоп поиял — пьяный Трофим. Напился у будущего тестя. На радостях иапился, что иаши отступают, что ихияя берет!

Батрак глянул вдоль дорогн и еле разглядел, как далеко-далеко иа горе тонулн в сиией дымке всадиики. Песии уже ие было слышио. Померкло поле. Только каркаиье вороиья неслось над степью. И опустил хлопец голову, поплелся бороздой за плугом. Куда и сила девалась.

— Коней поил? — окрикиул Трофим.

— Нет.

— Тогда напой да овса дай, басурман чертов. И опять паши, поиял?

Неуверенио ступая, Трофим поплелся жиивьем к телеге и, раскинув иа сеие армяк, лег: хмель уморил его.

Прокоп выпряг лошадей, проворио вскочил на Жука и, свистиув в воздухе кнутом, поскакал в иаправленин озера. Ои мчался против ветра, охвачен-

ный каким-то незнакомым до сих пор шалым восторгом. Эх, полететь бы вот так туда, где растаяли в далекой мгле красные всадники!

Поил лошадей осторожно, не позволяя им пить вволю, возвращался назад к телеге медленной походкой, а мысль, которая родилась так внезапно, когда мчался вскачь, не давала ему покоя.

Привязав коней, дал им по мерке овса. Вороные, хрупая, уткнули морды в торбы. Только изредка какой-нибудь ударит копытом о землю, отгоняя надоедливых осенних оводов.

Прокоп отломил кусок ржаного хлеба, взял луковицу, сел на дышло у передка, не спеша начал есть. Искоса поглядывал на хозяина, который, разбросав руки, спал на телеге.

А тот лежал, точно сучковатый вяз. Нагулял силу хозяйский сын. Одной рукой, хвастаясь перед парубками, бывало, телегу приподнимает. А сейчас разомлел от горилки, спит. Рыжие волосы, перепутавшись с сеном, спадают на закрытые глаза, рот полураскрыт, кажется, вот-вот он гаркнет на тебя. Сколько раз ходили кулаки Трофима по его, Прокопа, гибкой, неокрепшей спине...

И вдруг с новой болью заныли у парня спина, руки и плечи. Тело жгли следы недавних жестоких побоев. А еще больше болела душа. До каких пор он молчком будет вот так покоряться, выгибая под ударами спину? До каких?

Осточертело все это. Когда малым был, только одна душа немым криком кричала, а теперь, когда обидит кто, взбаламучивается кровь, сжимаются кулаки и хочется развернуться и ударить со всей силой обидчика своего. Но не решается. Однажды, правда,

чуть не прорвалось. Вскипел, сухое грабище хрустнуло в руках, и тогда старый Папило понял, что батрака трогать уже небезопасно.

«Тюхтя я! Тюхтя! — укорял себя Прокоп. — Вот люди, всадники те, такие ж, видать, как я, а за сабли взялись, за власть народную борются. А я, вишь, за хозяйским плугом в борозде спотыкаюсь».

И опять вроде ветер доносит слова песни: «Слушай, товарищ...» Прокоп решительно поднялся. Взял кожаные вожжи и одним махом, сделав петлю, набросил ее на ноги Трофиму. Затянул крепкий узел, а другой конец привязал к колесу.

Трофим спал, точно убитый. Кони мирно хрупали овес. Батрак приступил к исполнению приговора, который сам только что вынес мироеду.

Взяв в руки узловатый кнут, каким его не раз били, он так размахнулся им в воздухе, что, всхрапнув, рванулись лошади, дернув с места телегу.

Проснулся Трофим, спросонья глянул на Прокопа.

— Ну, время подниматься! — приказал ему строго батрак.

— Что, что? — удивленно поднял тот голову.

— Время вставать, говорю, — и полоснул хозяина кнутом.

Рванулся Трофим, но где там... Хотел спрыгнуть с телеги, но только забрыкался, точно стреноженный конь.

Второй удар кнута пришелся ему по спине. Ошпаренный Папило закрутился на возу, закрыв лицо руками.

— Как ты смеешь, злыдень, разбойник?! — вопил хозяин, а потом что есть мочи заорал: — Караул, спасайте!



Но поле было иемое, только иад вспахаииыми лугами каркало вспугиутое вороиье.

Накоиец Трофим присмирел, заскулил, и лишь тогда Прокоп перестал стегать. Он с брезгливостью плюиул и пошел прочь.

Остаиовился. Постоял молча.

Потом подошел к Жуку, положил иа спииу вчетверо сложеииую рядииу вместо седла, из постромок сделал стремеиа и вмиг взлетел иа коия.

Похлопав Смагла на прощание ладонью, натянул уздечку Жуку и рванул с места в карьер.

Летел напрямик жнивьем и пахотой, не оглядываясь. Придержал лошадь только далеко за хутором. Оглянулся. Вслед за Жуком бежал Смагло. Вот бесов конь, не хочет расставаться! А может, нужно было и его взять на повод? Ведь могла быть погоня. Это хорошо, что Смагло бросился сейчас за ним, а что если б им воспользовался хозяин? В нервном возбуждении Прокоп не подумал об этом.

Натянул повод и опять погнал вперед. Выскочил на широкий шлях, по которому недавно проехали красные всадники, помчался — словно вдогонку за судьбой. Даже Смагло отстал.

Только за Мужевой балкой догнал Прокоп красных кавалеристов. Подскакал запыхавшийся, выпалил сразу:

— К вам я, товарищи! Принимайте в кавалерию! От хозяина сбежал.

* * *

Пронеслась глубокая осень, улетела, словно на гривах рыжих коней, отшумела зима в белых снежных метелях, в суровых боях с врагами. Уже и весна, стремительная в грозном блеске сабель, отходит кровавыми дорогами войны.

Возмужал за это время Прокоп Подорожный — молодой, курчавый всадник кавалерийской дивизии Александра Пархоменко.

Много раз приходилось ему бывать в жестоких боях. Вначале, когда скакал, бывало, в атаку, даже дух захватывало, и сам не знал отчего. Но вскоре прошло это, и уже без всякого страха летел в самую



гущу врагов. И иногда расплачивался за это свое безрассудство. Но хлопец с гордостью носил шрамы на молодом теле, проходя в сечах тяжелую науку смелости и отваги.

В одном из боев едва было жизни не лишился сгоряча, да спасибо старому Новохатко: выручил из беды. После старый пожурил молодого запальчивого бойца:

— Ты чего в самое пекло лезешь? Смелость у тебя есть, есть и сила — на руку крепкий; одно слово — плугарь. Но тут, Прокопе, еще и умение нужно, и хитрость не помешает. Так-то, сынок...

В молниях и громах прошла весна 1920 года. Конная армия Буденного гнала противника от Киева на речку Горынь. В одной атаке под Дубно кавалерийский эскадрон врезался во вражью лаву. Это была жестокая и горячая сеча. Сила ударила на силу. Класс встал против класса. И была та битва не на жизнь, а на смерть.

Словно ветер, носился по полю боя Прокоп Подорожный на своем вороном. Сабля, как молния, опускалась раз за разом то вправо, то влево на головы врагов.

Храпели кони, вставали на дыбы. Сталь звенела о сталь. Слетали искры с выщербленных сабель. Тяжело стонала земля над Горынью...

Приближался конец сечи.

И вдруг Прокопов Жук заржал и неудержимо бросился прочь, не подчиняясь больше поводу. Он летел на ржанье другого коня, который бежал ему навстречу из вражьей лавины.

Это кони-братья, несшие на себе непримиримых врагов, узнали друг друга.

Налетев, точно смерч, Трофим Папило саблей рубанул воздух; еле успел Прокоп отвернуть коня. Он сюда, а Жук туда тянет, к Смагле несется. Не лучше и у Трофима: Смагло совсем вышел из подчинения. Словно ошалели кони от радости, что встретились после долгой разлуки.

Опять и опять сходились и расходились всадники. Кони вставали на дыбы, пытались сбросить с себя седоков. Сердились вороные, что не дают им люди приласкаться плечом к плечу, гривой к гриве.

Натянул Прокоп повод Жука так, что у коня шея дугой выгнулась, стиснул шенкелями, осадил на себя коня, сделал отчаянный прыжок и, перекинув саблю с правой руки в левую — на обе руки был мастер! — рубанул со всего плеча...

Не вскрикнув, рухнул Трофим Папило с седла, запутался ногами в стременах. И потянул его Смагло полем битвы. Он уже был без седока, но все бежал и бежал вслед за Жуком, и развевалась на ветру черная грива.

Только теперь придержал Прокоп своего коня. Вот поравнялся с ним неспокойный Смагло и тихо заржал, кивая головой.

Кони — братья вороные — чесали зубами друг другу гривы, ласкались, как когда-то жеребятами на родном пастбище. А на поле боя спадала немая тишина.



ТРИ ЯВОРА

Три высоких зелеиых явора шумят иа сельской площади. Когда иалетает ветер, яворы гиутся, раскачивающимися верхушками прислоияются друг к другу — словио хотят обияться зелеиыми руками три родиых брата.

Три явора таииствеиио шумят, будто рассказывают старую сказку. Тридцать шесть весеи проиеслись ключами журавлииыми иад их кудрявыми головами. Тридцать шесть весеи. И каждый раз все выше и выше подиимались в ясиую голубизиу гибкие ветви их макушек, лопоча под ветром иа своем дивиом языке легеиду-быль, случившуюся когда-то давио, давио...

Мне тогда было девять лет.

Зимой я ходил в школу, а когда начиналась весна, мы, сельские мальчики, оставляли книжки и проходили уже другую науку — на пастбище, около овец и коров. Пасли скот неподалеку от села, на выгоревшей, вытоптанной толоке около глинищ, хотя верст за пять от нас был большой лес, который в народе называли Дубиной. Там росли высокие травы и около озер и на полянах. Но вот уже третий год в чаще Дубины скрывалась и орудовала банда. Она нагоняла страх на всю округу. Где уж было бедняцким пастушкам, отцы которых впервые за долгую жизнь приобрели коров, даже подступаться к Дубине. Ведь скот-то наши родители получили от ревкома.

Весной памятного 1921 года, как только сошел снег и первая зеленая травка несмело пробилась на бугорках согретого солнцем выгона, вывели мы своих изголодавшихся за зиму коровенок на луг. Коровы паслись, а мы играли в мяч, сбросив с себя замасленные шапки и старенькие домотканые пиджачки, чтобы легче было бегать.

Утомившись, садились над обрывом глиняной ямы и рассказывали друг другу все, что слышали от родителей и взрослых. И, конечно, больше всего о банде, о тех ужасах, какие творила она, нападая на окружающие села. Мальчики встревоженно вздыхали, не по возрасту хмуря лица, говорили:

— До каких же пор эти бандиты будут мучить людей, а? Наши, вон, разбили и Деникина, и Врангеля, и гайдамаков, а эти, проклятые, бродят по лесам, как волки неуловимые...

— Постой, дойдет и до них очередь.

— Берет, берет волк козу, да возьмут и волка, — повторил кто-то поговорку, услышанную от родителей.

— А как же. Слух пошел, будто в наше село скоро должен отряд красноармейцев прийти — банду ловить.

— Эх, если б мы постарше были, — мечтали вслух более смелые, — достали б оружие, организовали б свой отряд.

Мы сидели мечтательные и суровые на согретой солнцем земле, в латаных штанах из грубого сурового полотна, бедняцкие сыны, юная жизнь которых была опалена дыханием великой грозы. А из степи летели ветры, горячие и порывистые, от которых загаром покрывались наши детские лица.

На косогорах парила земля, поля купались в сизом тумане, и жаворонок выводил свою первую песню. Скоро и сеять! Наши хлеборобские души, с детства привыкшие к чернозему, с нетерпением ждали этой поры. Скоро! Если бы только не мешала банда. А то в прошлую весну сколько бедняков замучили в поле за то, что осмелились они засеять панскую и кулацкую землю.

В один из теплых весенних дней, когда наша скотина лежала на выгоне, а солнце стояло как раз над головой, мы увидели, как из-за бугра, на горбатой дороге появились одна, другая, третья, а потом еще несколько подвод и колонна солдат. Острые штыки их поблескивали на солнце. Как завороженные стояли мы, рассматривая издали шеренги бойцов. Сомнений не было, шли красные — наши солдаты. Мгновенно сорвавшись со своих мест, помчались навстречу отряду, стараясь обогнать друг друга.

Впереди колоины шагали двое. Одии в буденовке и короткой шииели, перетяиутой в талии широким ремнем, иа котором с правой стороиы виднелась кобура с револьвером. Другой, иемиого ниже первого, был в кожаике и в старой потертой фуражке с красной звездочкой иад козырьком. Первый, наверное, комаидир, второй, видио, политрук, догадались мы, имея уже кое-какой военный опыт.

Оии помахали иам рукой с дороги, а тот, что был в кожанке, улыбнувшись, крикиул:

— Здравствуйте, ребята!

— Добрый деиь! — дружио, как по команде, ответили мы, и малеиькие сердца наши иаполиились гордостью. Ну вот и дождались, пришли-таки красиоармейцы иа помощь. Каюк теперь иеиавистиой банде!

Рота прошла четким шагом мимо, утаптывая еще сырую от весеиних дождей дорогу. А мы стояли босые иа обочиие, словио принимая торжественный парад, весело махая утомлеииым бойцам своими жесткими ручоиками, готовые броситься вслед за ними.

До самого вечера только и говорили о красиоармейском отряде. С иетерпением ожидали, когда опустится солице. И не одии из нас, поставив палку иа указательиый палец и балансируя ею, приговаривал: «Пришел Гиат, пора гиать, пришел Мусий, еще пасить». Если палка упадет иа словах «пора гиать», зиачит, гоиим коров домой, если же получалось «еще пасить»— приходилось пасти. Хотя, как мы ии гадали, в обоих случаях должиы были терпеливо ожидать заката. И все же сегодня мы троиулись домой раньше, рассчитав, что солице как раз зайдет, пока мы пригоним коров в село. Не терпелось побыстрее по-

пасть домой и узнать о всех новостях, случившихся в селе с приходом отряда.

Темнело, когда я загонял свою Лыску во двор. Мать, увидев меня, вышла из хаты с ведром в руках, улыбнувшись как-то радостно и весело. Вслед за ней на пороге появился уже знакомый мне политрук. Я узнал его сразу, хотя он был без кожанки, только в фуражке, из-под которой выбивались русые кудрявые волосы. Политрук тоже узнал меня и улыбнулся, как старому знакомому:

— А, пастушок!—сказал он приветливо и, подойдя поближе, обнял меня правой рукой.

Я прижался лицом к пропахшей потом и пылью гимнастерке. На душе у меня было так тепло и хорошо, как два года назад, когда я также встречал среди двора своего отца, внезапно вернувшегося с войны.

Так и начал жить под крышей нашей убогой хаты политрук красноармейской роты Алексей Кузнецов. Он как-то сразу вошел в семью. В первый же вечер сел с нами за стол ужинать, не побрезговав пшенным кулешом, который сварила мать. Так же, как и мы, тянулся к общей миске, подставляя под ложку краюшку хлеба, чтобы не капнуло на стол. Видно было, из трудовой семьи наш постоялец, из простых людей. Поужинав, встал из-за стола, поблагодарил, слегка поклонившись матери и отцу, и, взглянув на образа, как-то вроде виновато сказал:

— Вы извините меня, что я нарушу ваш обычай и не буду креститься.

— А я и сам попам да иконам не верю, — отозвался отец. — Махнешь только иногда рукой по привычке.

— Я хочу вас просить звать меня просто Алексеем,

а можно и Алешей, так будет даже лучше. — И политрук снова улыбнулся, блеснув белыми красивыми зубами.

— А что же, можно и Алексеем, — согласился отец, — будешь нам вроде как за сына. Мы люди простые.

Утром политрук вставал рано. Иногда брал топор и шел рубить дрова, чтобы было чем матери протопить печку.

— Да что вы, Алексей, — останавливал его вначале отец, — я и сам нарубаю, или вон хлопцы.

— А почему, я тоже умею, это мне вроде физкультуры.

Впервые услышанное и непонятное слово удивило меня. И что оно означает — физкультура? Со временем политрук Алексей Кузнецов, который относился ко мне, как к младшему брату, объяснил не только значение этого слова...

Когда мать с сестрами начали копать грядки, он тоже в свободные минуты брал лопату и, поплевав на руки, начинал работать. Мать останавливалась и любовалась, как он наступал на заступ правой ногой, загоняя его в землю по самый держак, и, легко подняв на руках жирную землю, выворачивал ее, будто всю жизнь только и копал огороды.

А когда мать установила в хате станок и начала ткать полотно, Алексей иногда подсаживался, расспрашивал, что и к чему, наблюдал, как мать искусно орудует руками.

— И зачем тебе это, Алеша, не мужское это дело, а наше, бабье.

Политрук лишь улыбался, и в больших голубых глазах его светилась едва уловимая лукавинка.



Нередко он подсаживался ко мне, брал из моих рук огромный клубок, который уже трудно было держать, и начинал быстро перематывать пряжу.

— Ну и Алеша, — удивлялась мать, — на все руки мастер!

Но вскоре матери пришлось поразиться еще больше. Однажды она оставила станок и пошла заниматься по хозяйству. Накормила поросят, загнала квочку с маленькими цыплятами в сени и вдруг услышала, что в хате кто-то стучит станком. Открывает

мать двери и глазам не верит: сидит за станком наш политрук Алеша и ткет полотно. Да так ловко орудует челноком, перебирает босыми ногами на подножках, что мать моя даже руками всплеснула. Кто, кто, а она знала толк в этом деле.

— Алеша, сыночек! Как же ты?! Так сразу и научился?

Улыбнулся наш удивительный жилец и говорит:

— А я с десяти лет около станка. Ткач я. Только у нас на фабрике, в Иваново-Вознесенске, не такие станки, и ткем мы там не полотна, а мануфактуру. Моя мать всю жизнь была ткачихой, от нее и я научился. Вы извините меня, самовольно за станок сел, потянуло к привычной работе.

— Бог с тобой, сыночек, чего ж тут извиняться, ткешь ты не хуже меня. Золотые у тебя руки, Алешенька.

Снова улыбнулся политрук, челнок не глядя то сюда, то туда посылает. Ногами босыми перебирает, а сапоги стоят рядом — порыжевшие, солдатские. Мы с матерью застыли, глядя на политрука.

Солнце из бокового окна упало на конопляную белесую основу, на русую голову необыкновенного ткача, волосы которого сливались с цветом золотистой пряжи. Вот таким он мне и запомнился на всю жизнь, этот удивительный человек из далекого неизвестного мне города.

— Вот закончим войну, мамаша, — заговорил политрук, — пустим ткацкие фабрики, построим новые и столько будем выпускать материи, что для всех хватит. Довольно мужикам ходить в домотканом и лаптях. Не будете и вы гнуть спину за этим станком, наберете материал в государственном магазине.

— А я еще никогда такого не носил, — проговорил я робко.

— Будешь носить, Тарасик, — вылезая из-за станка, пообещал Алеша, — все будут хорошо одеваться, жизнь будет другая. Не на господ, а на себя станет работать народ. За это и воюем. Последних врагов добьем и тогда обеими руками за работу.

Алеша был хороший агитатор. Не раз приходилось мне видеть его среди бойцов. Они слушали политрука сосредоточенные и строгие, а он стоял в этом солдатском кругу без фуражки — светлоглазый, русоволосый — и горячо говорил, словно вслух мечтал вместе с задумавшимися бойцами.

— Красная Армия добивает врага на Дальнем Востоке, скоро будет очищена земля, а мы с вами уничтожим здешних атаманов и атаманчиков, расплодившихся за войну по лесам, словно грибы-поганки; добьем и конец войне. За молоты и серпы возьмутся наши трудовые руки. Вырастут заводы и фабрики, заколосятся урожаями свободные поля. Какая жизнь настанет, товарищ, а?!

Мы, мальчишки, усевшись неподалеку от роты, собравшейся на политчас, слушали Алешу, забыв обо всем на свете, и казалось, речь его лучше всякой сказки.

А сказки мне приходилось слушать от него самые удивительные. В его рассказах не было ведьм, змей и драконов, а только обычные люди, как в нашем селе. Но все это были сильные духом и отважные бойцы. Они смело выступали против всего злого, за правду народную.

«...Заковали кузнеца Егора жандармы в железные кандалы и погнали этапом с такими же каторж-

никами, как он, в Сибирь. Далека и страшна дорога туда, почти полгода надо идти, протирая тело цепями до костей, орошая путь рабочей кровью...»

Не спеша и тихо рассказывает, бывало, Алеша, глядя в окно. А мне кажется, словно он читает на память из книги, которую сам давно изучил. Слушая его, притихнут сестры. Перестает стучать на станке мать, делая вид, что порвалась основа и она копошится в ней, связывая оборванные нитки. А Алеша говорит:

«Через месяц после того, как прибыл на каторгу, убежал кузнец Егор из ссылки и направился снова к родному городу, чтобы поднять товарищей своих против царя и господ за революцию. Три раза его ловили жандармы и три раза он бежал из Сибири. Действительно богатырскую силу имел человек и железную волю...»

И шел дальше рассказ о том, как настала революция, как простой кузнец организовал рабочий вооруженный отряд и повел его в Москву, помогать брать с боя царский Кремль.

«А теперь тот кузнец работает комиссаром всего фронта на Дальнем Востоке», — закончил политрук.

Значит, это не сказка, и не просто вычитано в книжке, а действительно есть такие смелые и отважные люди, каких в народе называют большевиками.

Мы все так привыкли к историям нашего политрука Алеши, что каждый раз, когда он был дома, упрашивали его рассказать что-нибудь новое, интересное. И он, подумав немного, начинал говорить. Однажды, поразмыслив дольше обычного, он улыбнулся, задумчиво сказал:

— Что же вам рассказать? Разве, может, вот эту историю? И начал, как сказку...

Жил был пареиь, простого рабочего роду. Отца у иего давно не было, убнли царские солдаты, н ие на войне, а на охвачеиных огием баррикадах во время революции 1905 года. Осталась вдова одна, с малым сыиом. Стал ои расти-подрастать и пошел по пути отца — в рабочие. Рассказали ему старшне товарищи, какой был у иего отец, и поклялся парень отомстить врагам за отца, продолжать иачатое им дело. И когда исполинлось тому парию 16 лет, вступил он в ту партню, к которой прниадлежал его отец, и стал он революциоиером. Чнтал запрещеиные киижки, о миогом узнал из них...

Встретил он однажды на собраиии девушку, по всему видать — ие простую, и влюбился в иее. Была оиа иа диво стройиая и красивая! Глаза чериые н волосы смоляиые, заплетеиные в две длиниые косы. Ходила эта девушка, как узиал позже пареиь, в гимназию, и была, иа róре, дочкой управляющего заводом. Как тут быть? Мучнлся пареиь, мучнлся и решил обо всем рассказать руководителю кружка. А тот выслушал и говорит: «Ну что же, девушка оиа иеплохая, хотя отец у иее паиский холуй. Да черт с иим. Дочь сама против него воюет. К иам, простым людям, тяиется...» Прошло немало дией, пока пареиь и девушка друг другу свои сердца открыли. И поклялись они всю жизиь идти рядом, что бы с иими ии произошло.

Я замечаю, как затихают прялки и сестры мои, склоиившись иа руки, слушают с широко открытыми глазами. Притихла и мать за стаиком, хотя пальцы ее проворио вяжут узелки.

Случилось так, что схватнла одиажды этого

парня полиция и бросила в тюрьму. Узнала об этом девушка — ее звали Надеждой — и бросилась туда, чтобы как-нибудь выручить своего жениха. Но где там! И на порог ее не пустили: «Ступай,—говорят, — вон отсюда и нечего тебе заступаться за государственного преступника, который осмелился пойти против самого царя».

Отец девушки, когда узнал, с кем подружилась его дочь, чуть не умер от гнева:

— Ты что же меня позоришь, такая-сякая! Да я тебя... Я тебя в монастырь отправлю!

— Поздно, отец, — ответила ему Надежда, — он мой муж, и у нас будет маленький.

— Ты что говоришь? — еще больше вскипел отец. — Да я тебя своими руками задушу.

— Не кричи на меня, я уже не ребенок... Так и знай, если засудят моего друга, я сама вслед за ним в Сибирь пойду. Вот и все. Если хочешь, бунтуй сколько угодно, себе только навредишь.

Но отправили того парня не на сибирскую каторгу, а в штрафной батальон, на фронт. Наверное, похлопотал где следует управляющий.

И вот в последнюю минуту перед отправкой на фронт в далекую Галицию пришла на свидание к осужденному Надежда. Побыли они вместе всего лишь пять минут. Прощаясь, сказала, обливаясь слезами:

— Возьми вот это на память, — и подала ему золотую иконку на цепочке.

— Не надо, дорогая, я ведь давно в бога не верю, — обнял он ее.

— Знаю, но это не иконка, это медальон с моим портретом, он тебя будет беречь от всякой беды.

Взглянув на него, будешь вспоминать обо мне. А я тебя никогда не забуду.

Крепко прижал к груди Надежду будущий солдат, взял из ее рук подарок. И замерли они, пока тюремный надзиратель не сказал, что время разлучаться, свидание окончилось. И пошел этот рабочий парень в солдаты. Погнали его на смерть «за веру, царя и отечество». Даже письма запретили писать родной матери.

Прошло больше года. Не погиб обреченный на смерть солдат. А когда произошла революция, на крыльях прилетел в родной город. Печальное то было возвращение. Матери не застал живой. А о Надежде узнал от людей, что отправил ее отец сразу же после суда куда-то далеко в другой город. И еще говорили, будто родилась у нее там дочка, а сама Надежда вскоре умерла. У кого ребенок остался, кто его знает...

Заплакал впервые в жизни солдат, поклонился могиле матери и снова ушел на фронт, но уже на другой — громить панов и буржуев. Ходит он сейчас где-то по дорогам войны, храня у сердца Надеждин медальон, надеясь отыскать по нему дочку, которой никогда не видел...

Оборвалась нитка на клубке. Умолк политрук. В хате тихо, только слышно, как всхлипывают над прялками мои сестры и шепчет мать какую-то молитву, повернувшись к образам. Я застыл у печки, закусил до крови губу, чтобы не расплакаться. Я все-таки мужчина. А мужчины, как говорил политрук, никогда не должны плакать...

— Где бы достать и прочитать эту книгу, — подняв лицо от прялки, спросила старшая сестра.

— Я вот не помню ее названне, — как-то виновато улыбнувшнсь, ответнл Алеша. — Когда-ннбудь прочнтаете, — н он поднялся. — Ну, мне пора на политчас, скоро бойцы соберутся.

После того как в нашем селе остановнлась красноармейская рота, банда больше не появлялась у нас. а залезла подальше в глубь леса. Бандиты надеялись кое-как пересндеть первую половнну весны, думалн, дальше нм будет спокойнее и легче скрываться — оденутся в лнству леса, кустарннкн н надежно защитят нх от преследовання. А сейчас нм приходнлось туго. Уже дважды на след банды нападал красноармейскнй отряд, но банда уклонялась от боя, спасаясь бегством.

Командованне отряда н ревком спешнлн до наступления тепла во что бы то нн стало лнквнднровать банду. Я слышал, как об этом не раз говорилн отец и полнтрук. Местная беднота всяческн содействовала отряду, помогая выяснннть, где находятся бандnты. Но всякнй раз, когда отряд спешнл туда, он находил лншь горячне следы. Очевидно, у шайкн была своя разведка, надежные уши н глаза нз числа недовольных Советской властью кулаков.

Возвращаясь нз операцни, полнтрук всегда был возбужден, в голубых глазах его чнталась досада. Часто он был в грязн — вместе с бойцамн лазил по лугам н лесам. Как правнло, проснл меня полить холодной воды н старательно умывался. Свежая криннчная вода возвращала ему бодрость и веселое настроенне.

— Ннчего, — говорнл он, брызгаясь, — брешут разбойнннкн, не теперь, так когда-нибудь мы нх все равно накроем.

И рассказывал, что в последний раз в перестрелке убили четырех бандитов, нескольких ранили, но из них только одного удалось захватить в плен. У бандитов такой порядок: или с собой забирают раненых, или же пристреливают их, чтобы не выдали тайну.

В напряжении и тревогах прошло еще несколько дней. Весна буйно покрывала листьями деревья. Уже проснулся дуб-зимовик, выбросив нежные желто-зеленые листочки. Зазеленели луга, пошли в рост камыши и рогоза. Еще неделя — и все переплетется в непролазной чаще. А банде это как раз на руку.

Однажды на рассвете я проснулся вдруг от какой-то суетни. Открыв глаза, увидел, как быстро одевается политрук, натягивает сапоги, подпоясывает ремень с наганом, снимает со стены всегда начищенный карабин. С ним снаряжался в неожиданный поход и мой отец, активный участник ревкомовской самообороны. Как только они вышли из хаты, я вслед за ними выскочил во двор. На улице, напротив нас, уже выстраивалась рота. С соседнего двора, где жил командир, бойцы выкатили два пулемета «максим», несли железные коробки с лентами. Не успел я хорошо осмотреться, как рота двинулась с места, и через минуту исчезла за поворотом улицы, растаяв в предутренней мгле.

Рядом со мной на пороге встала мать. Она набожно крестилась, желая удачи и Алеше, который стал для нее как сын, и отцу, и всем тем, кто, не жалея жизни своей, пошел на банду, причинявшую столько горя бедноте окружающих сел.

— Господи, помоги им покарать лесных бродяг, — она подняла глаза на восток, где вскоре должно было взойти солнце.

Через какой-то час со стороны соседиего села Загруневки, раскинувшегося между лесом и лугами, долетели выстрелы. Потом заговорили пулеметы. Ахнули, прокатившись эхом в камышах, разрывы гранат. И сиова винтовочные выстрелы раскроили на клочья утренний туман, клубившийся над рекой. Я залез на сарай, словно отсюда мог увидеть картину битвы, которая гремела где-то в темных лугах. Наверное, бандитов, выползших ночью из леса, взяли неожидаино.

Бой, так внезапно начавшийся, так же быстро и затих. Только одиночные выстрелы изредка эхом прокатывались по лесу. Потом наступила тишина, таинственно-загадочная и суровая. В один миг я скатился с крыши сарая, выскочил иа улицу и, не обращая внимания на предостережения матери, побежал за село. Бежал путаными уличками, а они, казалось, были бесконечиыми. Никогда не думал, что у нас такие длинные дороги и закоулки — то заболоченные и заросшие с обеих сторои вербами и осокорями, то песчаные, выжженные солнцем, с большими колючками под заборами.

Спеша навстречу отряду, я, иаверное, заблудился и побежал немного в сторону. Остановился, начал прислушиваться. Над селом — тишина. Встревожеиные мужчины и женщины стояли около хат и ворот. Я поплелся назад. Было обидно до слез, что ие я первый встречу Алешу и отца. Накоиец, выбравшись из путаных переулков, я оказался недалеко от волревкома. Здесь отдышался и огляделся. К ревкому приближалась красноармейская колоииа. Бойцы шли молча, вслед за иими ехали подводы, а дальше шагали бородатые дядьки из иашей самообороиы.



Я бросился им навстречу. Что-то встревожило меня, какое-то тяжелое, непонятное чувство вызывали молчаливо шагавшие люди. Впереди колонны шел утомленный, грустный командир. Один, без политрука. А где же Алеша? Да и отца что-то не видно.

Я остановился, отыскивая глазами хорошо знакомую фигуру политрука. Не мелькнет ли где-нибудь его кожаная фуражка, из-под потертого козырька которой всегда выглядывал волнистый русый чуб. Нет,

нигде не видно. А вот и подводы. Около первой тяжело шагает отец. Я вижу его нахмуренные широкие брови и глаза, темные, как ночь. А на возу лежит, разметав руки, наш Алеша. Голова без фуражки, волосы спутанные, глаза закрыты, а лицо белое, белое.

Отец, заметив меня, тяжело вздыхает:

— Ранили нашего Алешу, — хрипло говорит он, — тяжело в грудь ранили, вряд ли выживет...

— Алеша! — вскрикиваю я, на ходу припадая к возу.

Какой-то боец, видно санитар, погрозил мне пальцем. Молчи, мол, не тревожь нашего политрука. А он открыл глаза, голубые, как небо, и, увидев меня, попробовал улыбнуться.

— Это ты, Тарасик... Вот хорошо, что пришел. Умру я скоро, в грудь ранили, сволочи... Умру, Тарасик. Хочу оставить тебе на память...

Он с трудом поднял руку, потянулся к левому карману на груди. Но руки уже не слушались его.

— Возьми там медальон, Тарасик. И сохрани его, мальчик...

Я держал небольшую золотую вещичку и заливался горячими детскими слезами. Рука командира легла на мою взъерошенную голову, и я услышал тихий голос:

— Главное, сохрани в своем сердце память о нашем политруке.

Похоронили мы Алексея Кузнецова и с ним еще двух бойцов на сельской площади, напротив ревкома. Когда кончил говорить командир, застучали глухо и жестоко молотки, забивая гвозди в свежеотесанные гробы. Потом их опустили на белых полотнах

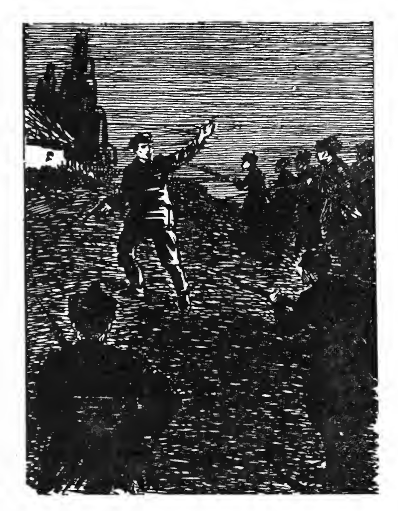
в широкую и глубокую яму. Посыпалась земля, а в голубое апрельское небо ударили выстрелы, отдавая последнюю почесть политруку и его боевым товарищам. Свет померк в моих глазах, казалось, обрушился мир, грохоча громами над гробами в глубокой яме.

Отец принес меня домой без сознания, уложил в постель. Позже он рассказал мне, как окружили и разгромили банду. Группа бандитов во главе с атаманом засела в кулацкой хате, стоявшей над речкой. В атаку бойцов повел политрук. В этой последней схватке он и был смертельно ранен.

Печаль надолго поселилась в нашей хате. Словно о сыне, горевала об Алеше мать, плакали сестры. А из медальона смотрело на нас печальное молодое лицо Надежды. Глубокие глаза женщины были полны горя. Казалось, и она понимала, что случилось непоправимое...

Осенью посадили мы на могиле политрука и его товарищей три молоденьких явора. Поднялись они через годы гибкие и высокие, в зеленом шуме листвы, и стоят, качаясь на ветру, словно три побратима, упершись зелеными головами в голубое небо, и рассказывают на своем таинственном языке о грозных событиях, которые произошли когда-то в нашем селе...

Через много лет пришлось и мне быть политруком красноармейской роты, защищавшей в грозных боях Сталинград. В одной из атак я был тяжело ранен и меня переправили на левый берег Волги, а оттуда в госпиталь, в Саратов. В госпитале, стоявшем над Волгой, ухаживали за нами хорошие и добрые врачи. Среди сестер особенно выделялась одна, ране-



ные называли ее ласково — Любочка. Подойдет она, слово доброе скажет и как-будто легче становится. Когда мне в первые дни особенно тяжело было, она целыми ночами не отходила. Привык я к ней, как к родной сестре. Временами казалось, что я знаю ее уже давно, давно. Вот это красивое, немного печальное лицо, глубокие глаза, черные косы, иногда выбивающиеся из-под белой повязки... Но что только не померещится раненому, ему все сестры кого-то родного напоминают.

Настало время выписываться. Пришел я вместе с Любой в канцелярию за своим имуществом, среди которого был и тот памятный медальон, с ним я никогда не расставался. Взял я вещи, а комиссар госпиталя, стоявший рядом, улыбается:

— А медальон-то чей, не жены ли?

— Жены, — говорю, — только не моей, а политрука Кузнецова.

— Интересно! — комиссар вдруг внимательно посмотрел на Любу. — Разрешите посмотреть...

Подаю ему медальон, а сам глаз с сестры не свожу — так тревожно забилось у меня сердце. Понял, кого напоминала мне Люба.

Она тоже всмотрелась в медальон и вдруг побледнела:

— Как звали жену политрука Кузнецова?

— Надежда, — говорю, а самого как в лихорадке трясет.

— Так это же портрет моей матери, — она прижала руки к груди, прислонилась к стене. — У меня точно такой портрет есть, только большой, единственная память от нее...

Вот так через много лет встретил я уже взрослую

дочь политрука огненных лет. В комнате у Любы действительно висел большой портрет Надежды, а рядом — Алексея. Русый, голубоглазый, он улыбался мне из далекого прошлого, словно живой...

Осенью того года, когда наши войска освободили Украину и мое село на Полтавщине, приехал я с Любой Кузнецовой в родные края. Пришли мы с ней на маленькую сельскую площадь, где в переливах солнца шумели высокие зеленые яворы. Выстоялись они и шумели по-прежнему.

В глубокой задумчивости стояли мы, склонив головы, пред светлой памятью того, кого по праву оба могли называть своим отцом. Много до этого и после исходил я опаленных войною дорог. Много видел разных могил. Но нет для меня более близкой и дорогой, чем та, что поднялась небольшим холмиком в окружении трех зеленых яворов.

Три явора еще долго будут шептаться, рассказывая людям далекую легенду, и их поймет каждый, у кого открытое и чистое сердце.



СРЕДИ ХЛЕБОВ

От станции Тополинь до села Журавне вьется меж хлебами степная дорога, бежит через небольшие овраги и балки. Хорошо пройти по ней пешком, когда желтеют хлеба. Еще раз оглядываюсь на маленькую, заново отстроенную станцию — всю в тополях, и отправляюсь в путь.

За станцией волнистым прибоем встретили меня поля. Тихое предвечерье висело над землей. От косых лучей солнца хлеба поблескивали богатым разноцветом: желто-горячим налетом прихвачены жита, шелковистой голубизной переливалась молодая пшеница, серебристым бархатом плескались ячмени, а еще дальше, беспорядочно увитая повителью, поблескивала гречка.

Издали я вижу, что кто-то идет навстречу, утопая среди хлебов. Подхожу ближе. Неизвестный тоже выходит с межи на дорогу. В руках у него большой пучок высокого жита, вырванного с корнями.

— Ну что, как жито? — спашиваю.

— Хорошее жито. Ишь, как выгнало: словно камыш. И на колос доброе. Скоро косить, — он любовно оглядывает степь.

— Журавне далеко еще?

— Да нет, километров пять будет. Село за горою лежит, в долине, поэтому и не видно отсюда. Пойдемте вместе — доведу.

Мой спутник — человек лет пятидесяти. Лицо у него загорелое, с небольшой красивой черной бородкой и усами. Лоб прорезают глубокие морщины. Серые большие глаза смотрят молодо, с какой-то торжественностью. На виске бледно-розовый рубец — шрам. В волосах легкий иней седины. С левой стороны на пиджаке — орденские планки.

— На каком фронте воевали?

— На третьем Белорусском. До последнего дня, можно сказать. Хотя в последний день мне воевать не пришлось. Чуть было смерть не скосила напоследок.

— Где же это вас так?

— Восьмого мая выбыл из строя за Кенигсбергом, под Пилау.

— Под Пилау? — воскликнул я, пораженный.

Но собеседник не заметил моего волнения и продолжал.

— Да, как раз в последний день войны добивали мы фашистов на косе Фриш-Гаф. Скопилось их там тысяч сорок, если не больше. Утром завязался

бой. В ответ на огонь нашей артиллерии фашисты открыли огонь из минометов.

Стояли мы на командном пункте моей роты, среди больших сосен. С нами были еще корреспондент из газеты, старшина и два связных. Слышу, ухают минометы. «Наш квадрат обстреливают, — говорю хлопцам. — Немедленно в землянки». Бросились мы в укрытие. Я бежал последним. Только в проход заскочил, как мина ударила в землянку. Ну, у меня свет помутился в глазах. Ничего не помню...

Ни одним словом не решаюсь перебить рассказ. Только смотрю на спутника и слушаю.

— Через два дня пришел в себя. Но не могу говорить и не слышу, когда ко мне обращаются. От контузии стал глухонемым. Ранений нет, а очень ослаб, в глазах пелена. Но товарищей вспомнил, вспомнил корреспондента и его слова: «Война должна вот-вот окончиться...»

Взял я кусочек бумаги, пишу сестре: «Война окончилась?»

Смотрит она на меня глазами лучистыми, шепчет что-то. Не слышу. Берет карандаш, пишет: «Вчера праздновали День Победы».

Прочитал я и обмер. Значит, правду говорил корреспондент. А я-то пропустил победу. Сестра написала мне, что всех моих спутников тогда прямым попаданием убило. А меня в проходе землей присыпало. Позже товарищи откопали. Охватило меня чувство, которое и словами не передашь. С одной стороны, радость, потому что войне конец, победа наша, а с другой — товарищей жаль. Да и сам я лежу, как колода: контуженный, глухой, немой. Одним словом,

калека. От волнения снова потерял сознание, во тьму провалился.

Долго со мной возились врачи. Признавались потом, что кое-кто даже потерял надежду на излечение. Привезли меня в госпиталь в наши края. Как за ребенком ходили за мной. Лучше, наконец, стало. Уже на ноги поднялся. Вот только не заговорю никак и ничего не слышу. Одного случая вовек не забуду. Я уже ходил на прогулку. Забрел однажды за город — госпиталь наш на окраине находился, и вдруг вижу степь, хлеба. Вы знаете, что значит для хлебороба степь, да еще в июне. Как раз был этот месяц. Красовались хлеба вовсю. Забрел я в жито, а оно волнуется, как море. Совсем как у нас под Полтавой. Родной степью повеяло на меня. Знаю, что жито шуметь должно. Вижу, как ветер гонит его волнами, как клонятся колосья. Да, шумят они обязательно. Шумят, а я не слышу. Не слышу! Губы до крови закусил, упал на землю, в жито, и впервые за все годы войны заплакал.

Он умолк на какую-то минуту.

— А теперь я снова слышу, как она шумит, наша родная степь.

Он остановился, прислушался. Остановился и я. Какое-то мгновение мы стояли в торжественном молчании, слушая шум степи. Хлеба волновались, бежали в голубую даль, славили жизнь.

И вспомнились нам обоим друзья, товарищи и побратимы, те, что шли на бой, всеми ветрами овеянные, жарою опаленные, холодом обмороженные, дождями осенними промоченные, теплом весенним обогретые. Те, кто в суровые дни с глубокой верой и

надеждой в сердце рвался вперед сквозь тысячи смертей к победе, которая, как радуга, сияла вдали. Многие из них не дожили до ясного дня, который взошел в громах салютов над землей; немало из них погибло смертью храбрых на поле боя, и теперь шумят, красуются над ними хлеба, зацветают разноцветными коврами цветы, и вечная немеркнущая слава встает, как живая легенда.

Солнце опускалось все ниже и ниже. Оно уже черкнуло своим красным диском желто-горячую волну степного моря и медленно осело в его глубину. Степь пламенела, и золотая широкая дорога из солнечных лучей лежала на ее волнах.

— Большое счастье дано человеку—жить, — снова заговорил мой попутчик. Видеть всю эту земную красу, слышать пение птиц, шум дерёвьев, шелест колосьев. Поверьте, все это я особенно почувствовал после того, как побывал в лапах смерти. Хотя и до этого любил жизнь, как и все люди.

Три месяца был я глухонемым, боролся с тяжким недугом. Часами, днями сидел, заставляя себя вымолвить хоть слово. И вот просыпаюсь однажды ночью от страшного сна, весь в холодном поту. Дрожу и зову спросонья: «Сестра, сестра!» И вы понимаете, слышу, что зову. Свой голос слышу. Испугался сначала, притих. За окном дерево шумит. По коридору кто-то прошел. Слышу... Повернулся на кровати, скрипнула она подо мной. Слышу... Дыхание у меня перехватило, сердце вот-вот выскочит. От радости чуть сознание не потерял. Сестра подбежала, схватил я ее, целую, говорю что-то, а она, бедная, смеется и плачет.

Вот так и заговорил. Заикался, правда, еще долго, да и сейчас иногда случается, и память иногда подводит. А вообще — здоров. Вот уже сколько прошло, как в своем родном селе живу. Председателем в колхозе. Снова к старой специальности вернулся.

— И до войны в этом колхозе работали?

— Работал. И колхоз этот организовывал, когда был секретарем комсомольской ячейки в тридцатом году. Потом председательствовал. Партия послала на учебу в сельскохозяйственный институт. Не доучился, с четвертого курса пошел на фронт, уже коммунистом. Сейчас институт кончаю заочно. Никуда не хочу из своего села. Здесь люди вот как нужны! Да и хорошо у нас. Посмотрите, как село тянется к солнцу. — И он показал на ровную улицу, застроенную новыми, светлыми хатами.

— Электростанцию построили на Ворскле. Новый Дом культуры закончим к осени, школу-десятилетку. Скоро село наше не узнаешь! А вот и моя хата, — указал он налево. — Прошу извинить — заговорился и не спросил, по каким делам вы к нам, в Журавне, откуда?

— Из редакции я...

И поднимаю глаза на своего знакомого. Мне хочется сказать ему о нашей первой встрече в годы войны, но он ничего не замечает в моем взгляде, и я снова молчу.

— Да чего же это мы стоим? Привел до хаты человека и встал. Прошу ко мне, товарищ, — он гостеприимно открывает калитку.

Благодарю хозяина за любезность и, сдерживая волнение, вхожу вместе с ним во двор. Около хаты цветник, на веранде вьется виноградная лоза, за



домом — сад. Среди старых деревьев одиноко высятся молодые яблони и груши, посаженные недавно.

На пороге нас встречает молодая женщина с ясными глазами.

— Знакомьтесь. Моя жена.

— Христя, — женщина подает мне руку, и легкий румянец вспыхивает на ее щеках.

Мы располагаемся на веранде. Вечерняя прохлада окутывает землю, и запахи трав и цветов становятся еще более явственными. Пахнет мятой.

— Давно женаты? — спрашиваю хозяина и почему-то смущаюсь от своей нетактичности.

— Девятый год. А познакомились в госпитале... Она ухаживала за мной. Вот ведь как бывает в жизни — через горе счастье находишь.

— Это правда, в жизни много необыкновенного. Бывает, мать давно оплакала сына, а он, смотришь, домой приходит. Товарищ друга иногда считает погибшим, а потом они встречаются... Бывает, что и не узнает друг тебя...

При этих словах хозяин поднял глаза, вгляделся в меня, словно только что встретил.

— Не узнаете, гвардии старший лейтенант Берестовенко? — спрашиваю, поднимаясь из-за стола, не в силах больше молчать.

Услышав свою фамилию, председатель тоже поднялся и часто-часто заморгал.

— Неужели вы тот самый? Товарищ корреспондент?

— Как видите, живой. — И мы бросились обнимать друг друга, как давние друзья.

— Как же ты, как же ты, голубчик, уцелел? Где ты пропадал? Ну, садись, садись, рассказывай. Христинка! — радостно позвал он жену. — Иди сюда скорее... Христинка!

И снова повернувшись ко мне, слегка заикаясь, заговорил:

— А я и не узнал, не узнал тебя в штатском. Наверное, контузия...

— Да и виделись мы всего каких-то десять минут.

— И то правда. Да еще в таком пекле. Узнал теперь, узнал, товарищ...

— Гайдым.



— Ну, вот видишь, и фамилии я твоей не знал. Живой, значит. Живой!

Я коротко рассказываю о себе:

— Как бросились мы тогда с командного пункта, споткнулся я о поваленную сосну и упал, разбив колено. А тут взрыв... Осколком меня в живот — опасная рана. Как брали санитары, еще помню, спросил даже, что с остальными. Говорят—всех прямым попаданием.

А тут недавио в газете прочитал, что бывший фронтовик Берестовеико, председатель передового колхоза — Герой Социалистического Труда. Начал узиавать. Верио, тот самый Берестовенко, бывший гвардии старший лейтеиант. Ну и решил иавестить. Тогда иа фронте, когда приезжал в вашу часть, должен я был написать о лучшем комаидире роты. Командование порекомеидовало вас, вот и пришел я на комаидиый пуикт. Не удалось тогда мне выполнить задаиие, напишу теперь.

— Вот так встреча! Христиика! Это ои, тот самый корреспоидеит, что был со миой иа Фриш-Гафе... А иу, Христиика, давай вишиевку, выпьем иа радостях.

Мы сидели за столом на вераиде нового дома, поднявшегося иа месте пожарища, — я, Берестовеико и его жена — все бывшие солдаты. Голубые сумерки окутывали сад. А из степи ветер доносил запах хлебов.

СОДЕРЖАНИЕ

Иван Антонович ЦЮПА

КОНИ ВОРОНЫЕ

Рассказы

Перевод с украинского

Главный редактор Ф. ЦАРЕВ.

Художник Г. УШАКОВ.

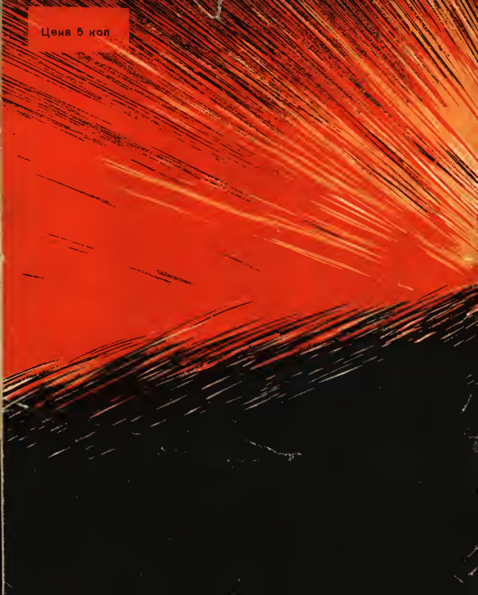
Литературный редактор Ж. ФОМИНА.

Художественный редактор Л. Шканов.

Технический редактор Ю. Гончаренко. Корректор М. Крапивина
Издатель: Военидат. Адрес редакции: Москва, А-83, Верхняя Масловка, 73

Г-70521. Сд. в набор 11.III.61 г. Подп. к печ. 3.IV.61 г. В печ. л. 55 000 тип. зв.
Бумага $70\times108^1/_{32}$ — 1,5 печ. л. — 2,05 усл. п. л. Цена 5 коп. Зак. 886.

1-я типография
Военного издательства Министерства обороны Союза ССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3


Цена 5 коп